

ИСТОРИЯ И ПАМЯТЬ*

Часть вторая**

Мадхаван К. Палат

Мемориальный фонд Джавахарлала Неру
Нью-Дели, Индия

palatmk@gmail.com

История и память являются разными способами построения прошлого, но каждая использует свои методы и задачи, своих авторов и слушателей. Их часто смешивают, путают с мифом и традицией. Но они в действительности различны и должны пониматься именно так.

Ключевые слова: история, память, миф, традиция, историзм, истина, относительность, идентичность.

Всеобщность

Память уникальна и связана с определенной группой; письменная история, со своей стороны, с середины XVII в. считается универсальной, охватывающей все прошлое человечества. До этого времени она была разделена на множество историй, в соответствии с разными предметами исследования, но когда идея единого человечества пришла в Европу и Америку, теоретически выражая реальность всемирной интеграции путем доминирования со стороны Северной Атлантики, идея истории как универсальной и единой стала мыслимой¹. И территориально она охватывала весь земной шар, и во времени – от появления человечества как вида, и она стремилась к большей степени абстракции, чем когда либо ранее. История перешла от разработки отдельных тем к истории вообще, или истории чистой и простой. Вольтер дал начало этому

процессу. Его предшественником был Боссюэ, название работы которого *Discours sur l'histoire universelle* (1681) предполагало универсальную историю человечества. Но она была ограничена «народами Бога», а именно евреями и христианами. Вместо этого Вольтер поставил себе цель написания всемирной истории, всеобщей истории человечества путем «необходимого соединения всех элементов целого», убирая различия между христианским и остальным миром и рассматривая всю человеческую расу в соответствии с единым светским стандартом². Гегель в своей теории исходил из того, что «этот универсальный элемент нельзя найти в мире случайных феноменов; это единство, стоящее за множеством отдельных элементов»³. История как событие и исто-

² Meinecke. Historism. – P. 64–65.

³ Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Lectures on the Philosophy of World History, translated from the German edition of Johannes Hoffmeister by H.B. Nisbet (Cambridge: Cambridge University Press, 1975), chapter “Its general concept”. – P. 30–31.

¹ Koselleck. Futures Past. – P. 32–36, 103–104, 194.

* Пер. О.А. Донских, Г.О. Донских.

** Первая часть – см. Идеи и идеалы. – 2011. – № 4 (10), т. 1. – С. 56–77.

рия как отражение события слились в одно слово (если до этого они в немецком языке различались [*Historia* и *Geschichte* стали просто *Geschichte*]) и постепенно сблизились по смыслу. Впоследствии количество мировых историй умножилось, и категории, называемые событиями «мировой истории», стали обыденно использоваться до того времени, когда пристрастие Гитлера к этому выражению придало ему дурную славу.

Есть множество форм всеобщих и универсальных историй. Первая и самая очевидная из них вытекает из буквального понимания понятий универсального и всеобщего. Многие историки и группы историков пытались писать всеобъемлющие истории человечества, несмотря на сложность этой задачи. Маколей, будучи всего лишь восьми лет от роду, составил комpendium универсальной истории, начиная с сотворения мира до современности, хотя завершением его жизни и карьеры стала более скромная история Англии, начиная от Якова II и заканчивая Анной⁴. Во Франции Мишле написал свою *Introduction à l'histoire universelle* в 1831 г.; в середине века в России Хомяков безостановочно писал свои *Notes of a Universal History*⁵, а Ранке на восьмом десятке в 1880-х написал семь томов универсальной истории, или *Weltgeschichte*, чтобы представить человеческую историю как единый процесс (хотя Восток у него в истории не участвует!). Однотомный и не слишком большой *Outline of World History* Г. Дж. Уэллса был на удивление популярен в течение десятилетий; да-

лее следовали *Glimpses of World History* Джавахарлала Неру, и такие теоретики цивилизаций, как Освальд Шпенглер, Арнольд Тойнби и Лев Гумилев. Они строили концепции человеческой истории в ее целостности и пытались ухватить ее сущность в одной работе. Это всего лишь самые известные из дюжин таких работ на каждом языке. Иногда предпринимались совместные труды, такие, например, как *Cambridge Modern History* Актона или *Histoire de France* Лависса. Казалось бы, увеличение объема знаний в XX в. должно отпугивать отдельных авторов или, по крайней мере, отдельных профессиональных историков от работ подобного рода; но вместо этого данный жанр привлекает опытных и профессиональных историков, таких как У. МакНил, Хью Томас, Крис Харман или Дж. Робертс⁶. Но всеобщая история с самого начала понималась как нечто иное: не как история каждого мужчины, женщины или ребенка, а как история, которая схватывает живой опыт каждого человеческого сообщества. Впервые подобный стандарт задал Вольтер в своем «*Опыте о нравах*»⁷. В XIX в. Огюстен Тьерри и Жюль Мишле дополнили Вольтера. Семнадцатитомная *Histoire de France* Мишле была «la résurrection de la vie intégrale», возвратом к целостности жизни, виртуозный спектакль своего рода. Его панорамный обзор был на уровне эпохов Рамаяны и Махабхараты, которыми он так восхищался; но он глубоко проникал

⁶ McNeill W. H. *A History of the Human Community: Prehistory to the Present* (Upper Saddle River, N. J.: Prentice Hall, 1997). – 715 p.; Hugh Thomas, *A History of the World* (New York: Harper and Row, 1979). – 700 p.; Chris Harman, *A People's History of the World* (London, New York: Verson, 2008). – 729 p.; or J.M. Roberts with *A Short History of the World* (New York: Oxford University Press, 1997). – 529 p.

⁷ *Essai sur les moeurs*.

⁴ George Otto Trevelyan, *The Life and Letters of Lord Macaulay, by his nephew G. Otto Trevelyan, Member of Parliament for Hawick District of Burghs*, 2 vols. – New York: Harper, 1876. – Vol. 1. – P. 42.

⁵ Хомяков А.С. Записки о всемирной истории. Полное собрание сочинений в 8 т. Т. 4, 6–7. – М.: Типолит. т-ва «И.Н. Кушнерев и К^о», 1904–1906..

в жизнь своих героев, в моду, в интимную сферу и в подсознательное; он трепетно сохранял каждую деталь в их разнообразии и многосторонности. Это было целое, составленное из невероятного разнообразия, откуда и пошла фраза «l'Histoire, c'est la spécification»⁸.

Программа Мишле, направленная на исследование всего живого опыта, была возрождена в XX в. Люсьеном Февром и Марком Блоком, когда они основали в 1920-е гг. *Annales*. Они призвали своих коллег и учеников стремиться к историям, в которых субъектом были бы люди как вид, люди в обществах (но не в тех ограниченных обществах, как их представляли истории наций), где могут быть свободно использованы возможности всех общественных наук, в которых не надо придерживаться формул, ограничивающих исследование, никогда не избегающих настоящего и всегда сознающих, что историки могут работать лишь с представлениями. История должна была стать наукой о человеке, не человеке в прошлом, а человеке во времени, которое соединяет прошлое, настоящее и будущее; и это должна быть постоянно меняющаяся наука и, следовательно, наука не постоянных законов, а меняющихся образцов. Это изменение родило свою апорию: такая универсальная история может привести к застою системы. И, таким образом, эта универсальная история должна стать постоянной задачей, которая предотвращает специализации и заставляет историка «выискивать взаимосвязи между всеми частичными целостностями»⁹. Специализация теперь была для них не более ужасна, чем диффе-

ренциация для Мишле¹⁰, так как «в принципе не существует проблемы, которая могла бы быть ограничена рамками единственной конструкции»¹¹.

Когда границы всеобщей истории были достигнуты первыми двумя поколениями *Annales* – Февром, Блоком и Броделем, – иконоборцы бросили вызов их позиции, выступив под девизом «От Истории к историзму», этот сдвиг обозначила серия Пьера Нора *La Bibliothèque des histoires*. Это движение было вдохновлено Фуко, для которого децентрализация, распыление и фрагментация предпочтительнее любому проекту обобщающего плана. Социальная история, величественная идея фикс 1960-х и 1970-х гг., уступила место культурной истории 1980-х и 1990-х гг., возвышая частное над общим. Но даже эта культурная история предала свои амбиции тем, что оценивала культуру как «изначальную реальность», по выражению Доминика ля Капра¹². Чем бы ни было вызвано вдохновение, будь то культура, общество или капитализм, стремление к синтезу возвращается в процессе, который ведет от разбрасывания к собиранию. Но не совсем ясно, настолько ли эти сдвиги фундаментальны методологически, как их представляют. Опять и опять подчеркивается обращение к другим дисциплинам, переход от повествования к проблемам, от историй наций к историям сообществ, материальных культур и менталитетов, использование недокументированных источников и многое другое, короче говоря, как у Мишле полтора века назад или у Февра за полвека до этого: «Человек в своей целостности, со своим телом,

⁸ «Introduction», in Michelet, *Histoire de France. Choix de textes*. – P. 9–30.

⁹ Paul Ricoeur, *History and Truth*, translated from the French by Charles A. Kelbley (Evanston, Ill.: Northwestern University Press, 1965). – P. 76.

¹⁰ Bloch, *The Historian's Craft*. – P. 47.

¹¹ Braudel, *On History*. – P. 15.

¹² Geoff Eley, *A Crooked Line. From Cultural History to the History of Society* (Ann Arbor: University of Michigan Press, 2005). – P. 193.

пищей, языками, представлениями, техническими и духовными инструментами, которые более или менее быстро меняются, весь материал, который до этого игнорировался, стал теперь хлебом для историков»¹³.

Жак Ле Гофф дружил с Пьером Нора, но для него, как и для Хобсбаума, предмет истории является все прошлое человечества, «глобальное или всеобщее»¹⁴, от «палеолита до ядерной эры»¹⁵. Всеохватывающая схема и великий синтез был на время отложен, пока постмодернистское иконоборчество набирало обороты, но это, может быть, не навсегда. Идеи прогресса и эволюции как объединяющие темы истории давно забыты, по крайней мере к 1920-м гг., и, возможно, это не свежий прорыв 1970-х и 1980-х гг. Идеи безграничных и множественных трансформаций вместо единого направления – не новшество, она находится в центре того, что называется современным состоянием. История может быть написана не как единая история с заглавной И, могут быть написаны многие истории, но они не могут вернуться к понятию множественных историй по ограниченным предметам, как это было до XVIII в. Несмотря на всю фрагментацию, предметом и объектом исследования является человечество, а не его отдельные фрагменты, и Вольтер в XVIII в. уже это зафиксировал. Фуко и Нора, каждый соответствующим образом, не отказались от этой цели, да и не могут, так как сейчас уже нет условий для такого отказа.

¹³ Christian Delacroix, François Dosse, Patrick Garcia, *Les courants historiques en France*, deuxième édition revue et augmentée (Paris: Armand Colin, 2005). – P. 226–229, 253–254.

¹⁴ Jacques Le Goff, *History and Memory*, translated by Steven Rendall and Elizabeth Claman. – New York, Oxford: Columbia University Press, 1992. – P. 125.

¹⁵ Hobsbawm E.J. «A Life in History», *Past and Present*, no. 177, 2002. – P. 3–16, here p. 12.

Забывание, Ностальгия и Скорбь

Память строится путем забывания того, что не надо запоминать, и она скорбит по тому, что помнит; история прошлого не забывает и по нему не скорбит. Эрнст Ренан еще более века назад отметил, что нация создается в такой же мере забыванием, как и запоминанием, т. е. «исторической ошибкой»¹⁶. Если бы история функционировала как память, она была бы ошибочной, так как большая часть ее нуждалась бы в подавлении. Память же этой проблемой не смущается; она свободна в выборе и не в ответе ни перед кем, кроме своей группы памяти.

История не может забыть и не забывает, хотя мы и привыкли считать, что многое забыто. Будучи записано, историческое событие не может быть забыто, разве что сама запись или след утерян; многое теряется из-за потери следа; но это не то же самое, что забывание. Ассман выявил интересный контраст между Моисеем – фигурой памяти и Эхнатомом, или фараоном Аменхотепом IV – фигурой истории. Исторических записей о Моисее не существует, но он есть в памяти; есть много исторических свидетельств о жизни Эхнатона, но он забыт. Хотя и не совсем: работа самого Ассмана показывает что фараон не забыт. То, что считается забытым, обычно просто игнорировалось, подавлялось или фальсифицировалось, что и случилось с Эхнатомом. Значительная часть постсоветской истории занята восстановлением того, что было запрещено. Одна из самых важных работ постсоветской истории – «Социальная история России периода империи» Б.Н. Миронова посвящена этому восста-

¹⁶ Ernest Renan, *Qu'est-ce qu'une nation? Conférence faite en Sorbonne, le 11 mars 1882*, 2nd edn. – Paris: Calman Lévy, 1882. – P. 7–8.

новлению¹⁷. А амбициозное подражание Нора Джорджем Ниватом сделало то же самое для русского фольклора и местных традиций¹⁸. Этот процесс, несмотря на тенденцию к сенсационности, по сути не отличим от множества «историографических революций», которые «опровергают» общепринятое. Сколько агентов истории, которые игнорировались (будь то пролетариат или крестьянство, бедные или маргиналы, женщины, афроамериканцы, номады, неприкасаемые и многие другие), возвращены туда, что называется их законным местом в истории, благодаря новым волнам исследований. Это продолжающийся процесс.

«Политика памяти» – специфический аспект этого процесса, и представляется, что он относится именно к концу XX в. Европа после Второй мировой войны начала лечить себя тем, что подавляла или смягчала воспоминания о своих худших преступлениях путем того, что Черчилль в 1946 г. назвал «святым актом забвения» в Западной Европе¹⁹, за этим последовали Комиссия по поискам правды и примирению (1994–1998) в Южной Африке и позже – Аргентина. Ужасная правда была раскрыта, затем прошли публичные исповеди, слезы и рас-

каяние. Жуткие раны были залечены, а правосудие и демократия были возвращены на пьедестал, по крайней мере, так было заявлено, но без возвращения правды. Фактически ничего не было забыто, поскольку все было известно, и историки продолжали писать свои монографии по поводу каждого из событий, которые были якобы забыты. Но эти истории не приобрели официального статуса через ритуалы, называемые празднованиями или актами воспоминания. В свою очередь, помнить историю, а не забывать ее стало любимым инструментом правосудия и демократии во всей Европе с 1960-х гг., когда холокост, ГУЛАГ и советские действия в Восточной Европе стали навязчивой озабоченностью²⁰. Восточная Европа аргументировала это тем, что платой за освобождение от нацизма стал сталинизм и что Евроатлантический альянс содействовал этому «преступлению» тем, что поддержал советскую оккупацию Восточной Европы. Эта история очень известна и более чем достаточно подтверждена документально, но новые европейские государства постоянно требуют напоминаний этой истории путем публичных ритуалов²¹. Очевидно, что «преступления» победителей помнятся далеко не с той интенсивностью, как «преступления» побежденных; деяния Израиля на Среднем Востоке или Америки по всему миру, о Британии и Франции в их империях уже почти «забыты». Однако ничто не забыто, так как их действия записаны, как и действия наци-

¹⁷ Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.). Генезис личности, демократической семьи гражданского общества и правового государства. В 2 т. – СПб.: Дмитрий Буланин, 1999.

¹⁸ Georges Nivat, “Mémoire russe oubliée”, in Georges Nivat, ed., *Les sites de la mémoire russe*, T. 1, *Géographie de la mémoire russe* – Paris: Fayard, 2007. – P. 9–59, and the innumerable other essays in this vast work.

¹⁹ Tony Judt, “The Past is another country,” and Tomothy Garton Ash, “Trials, purges, and history lessons: treating a difficult past in post-communist Europe,” in Jan-Werner Müller, ed., *Memory and Power in Post-War Europe. Studies in the Presence of the Past*. – Cambridge: Cambridge University Press, 2004. – P. 157–183, 265–282 respectively.

²⁰ Barbara A. Misztal. «Collective Memory in a Global Age. Learning How and What to Remember». *Current Sociology*, January 2010, Vol. 58 (1). – P. 24–44.

²¹ Maria Mälksoo. «The Memory Politics of Becoming European: The East European Subalterns and the Collective Memory of Europe». *European Journal of International Relations*. – Vol. 15, no. 4. – 2009. – P. 653–680.

стов и Советского Союза, но они не отмечают.

Это, возможно, одно из самых важных различий между памятью и историей. Память – это не столько воспоминания, сколько то, что отмечается путем актов воспоминания. Джей Винтер глубоко изучал активность воспоминаний в отношении войн XX в., и в особенности Первой мировой войны в Европе, и он показал, как бесчисленные формы воспоминаний образуют общества памяти²². Отвлекаясь от этого, кажется, что это повторяемые и ритуализированные воспоминания трагической истории этими группами пострадавших хранят живую память о событиях, что именно постоянная пропаганда не дает забывать. Трагедия может случиться, история может быть написана и пострадавшие могут никогда не забыть, но остальной мир может это игнорировать, если не организуется поминовение, а поминовение – это политический выбор. Это и есть ноша завета еврейского народа – помнить и повод для Йерушалми доказывать, что евреи потеряли свою идентичность, когда обменяли память на историю. Таким образом, память – не просто акт припоминания; это действие коллективного и общественного воспоминания, т. е. память, которая превосходит любое сознательное действие. И Джей Винтер заявляет, что его исторический труд явился актом воспоминания.

Воспоминание также в себя включает скорбь о потере и, как провозгласил Ницше: «Лишь то, что не перестает болеть, остается в памяти», но история работает не так. Если история – это регистрация произошедшего, то память – это скорее реги-

²² Jay Winter, *Remembering War. The Great War Between Memory and History in the Twentieth Century* (New Haven and London: Yale University Press, 2006). – P. 3, chapters 7, 8.

страция того, что было утеряно, чем того, что произошло. В качестве записи утраченного она вполне может соответствовать историческим данным, так как все, что случилось, также потеряно, ведь оно ушло в прошлое. Мы слишком хорошо понимаем, что все случившееся не может быть уверенно сохранено памятью, что оно не может быть повторено, даже как фарс. Даже счастливые воспоминания грустны, так как напоминают нам, что те люди или события теперь навечно в прошлом, что они вытеснены до монументов или снижены до сувениров. Празднование счастливых моментов, например дней рождений, беззаботное детство, проделки в школе, муки и страсти любви, успешная карьера, гордость за достигнутое и многое – все это осознается как то, что нельзя снова пережить, что вся жизнь – это откладывание смерти (Деррида). Это относится в равной мере как к группе, так и к отдельному человеку; и великие национальные праздники успехов прошлого дополнены переживанием, что эти дни величия навсегда позади, что пока они прославляют титанов прошлого, им приходится мириться с пигмеями настоящего, что настоящему и будущим поколениям дозволена лишь память, а не сами достижения их предков. Великие военные победы могут праздноваться с радостью, но они несут и память о жертвах, потерях и стыде выживших, которые воображают, что предали близких тем, что живут. Гальбвакс проникательно исследовал ностальгию по потерянному времени, ее привлекательность для тех, «кто пережил ее и считает, что оставил лучшую частицу себя там, и которую он пытается вновь обрести»²³. Коллективная память становится увековеч-

²³ Maurice Halbwachs. *Les cadres sociaux de la mémoire*. – Paris: La Haye: Mouton, 1975. – P. 106–107.

чиванием, они скорбят по потере, уходят в ностальгию, и память, скорбь и ностальгия сживаются и сливаются в одно целое. Хотя скорбь и уходит корнями в исторические знания, само написание истории не обязательно нести скорбь или ностальгию. Если в исторических работах моменты скорби и ностальгии присутствуют (а для многих работ оно так и есть), это значит, что история написана как воспоминание.

Повествование и литература

Точка, в которой история и память фактически сходятся, — это их повествовательная структура. Поскольку уникальность событий сочетается с типичностью и повторяемостью истории, появились новые проблемы структуры повествования. Самая важная состояла в выявлении собственно события, определении его границ. Любое событие может в принципе быть бесконечно разделено на меньшие события, пока они не растворятся в случайных бессмысленных действиях. Решение заключается в отборе сырых фактов и воссоздании самого события для первичного анализа, затем конструировании других подобных событий и выстраивании их в цепь, которая и становится повествованием, содержащим соответствующие образцы. Таким образом, события оказывались конструкциями, не данными историей, документами или другими источниками. Каждое событие в прошлом могло быть частью образца, чтобы выстроить историческую цепь; такие события впоследствии представлялись как «исторические», «значимые» или «важные», потому что они составляли часть образца. Это была кантовская совокупность человеческих действий, которая, будучи само по себе бесцельным, должна была войти в схему мировой истории. Образец или

схема были по сути идеологией или искусственной структурой; чтобы соответствовать своему значению, факты отбирались и подгонялись под целое, чтобы выстроить историческое повествование²⁴. Повествование стало своим собственным объяснением, создавая так называемую «диахроническую структуру»²⁵. В XIX в. это выражалось чаще всего в форме истории прогресса к нации²⁶, свободе, демократии, революции и подобным идеалам, каждое событие вписывалось в такое прогрессивное движение, и оно становилось историческим и значительным благодаря тому, что входило в эту цепь²⁷. Помимо того, что они были событиями, «которые на самом деле случились», они были понятны, о них можно было думать. В конкретных историях такие события стали «историческими», и если их собирали в мировую историю, они становились «всемирно-историческими». Чем больше прибегают к созданию крупных и продолжительных образцов в истории, тем больше используются, хорошо или плохо, термины «исторический» и «всемирно-исторический». Когда это практиковалось в Германии, это называлось историцизмом. Короче говоря, повествовательная история была возможна только благодаря теории, которая делала факты понятными, и осмеленные повествовательные истории, образцы экстремального эмпиризма были с необходимостью закреплены теоретически.

Уникальность сделала историческое повествование ближе к поэзии и литера-

²⁴ Michel de Certeau, *The Writing of History*, translated by Tom Conley (New York: Columbia University Press, 1988). — P. 41–42.

²⁵ Koselleck. *Futures Past*. — P. 106–109.

²⁶ «progress toward the nation...»

²⁷ François Furet, *In the Workshop of History*, translated by Jonathan Mandelbaum (Chicago and London: University of Chicago Press, 1984). — P. 15, 49, 55–56.

туре, чем когда-либо ранее. Когда история перестала задавать образцы и стала цепью уникальных событий, она стала читаться как литература и обрела литературный стиль тем, что стала пытаться воссоздавать прошлое как можно вернее²⁸. Ранке был известен своим критическим и точным профессионализмом, своей преданностью источникам и способностью заставить документы заговорить. Но он отлично знал, что источники не предоставляли исторических образцов, что только интуиция историка способна их выявить и соединить все в осмысленную схему. В этом и проявлялись его поэтические способности в соединении с литературным даром. Новалис мог сказать, что историк – это поэт²⁹. Маколей видел историка как писателя-романиста³⁰, и Гете заметил творческую связь между историей и литературой, критикой и интуицией³¹. Всеохватывающие теории, такие как прогресс, национальное строительство или исторический материализм, предоставляли готовые схемы, которые можно без всяких проблем наполнить событиями, но даже они требовали определенной проницательности, чтобы определить специфику события или действия, которые могут быть включены. Ни первичные источники, ни теория не могли автоматически дать ответ, на это способно лишь воображение историка.

Далее, так как прошлое не может быть повторено, историк сталкивался с проблемой представления истины о том, к чему нельзя вернуться. Любая реконструкция прошлого может быть лишь конструкцией,

и снова историк приближается к романисту и поэту. Прошлое надо было вернуть, Мишле начал «размораживать трупы», а Вальтер Скотт дал Тьерри модель «исторической интуиции»³², хотя Гегель едко заметил, что такие вещи должны оставаться с Вальтером Скоттом³³. Гете понял, что должен написать автобиографию как роман не потому, что он хотел что-то изобретать, а потому что хотел заново пережить, что не способно дать никакое количество цитат из источников.

Мишле, возможно, был самым способным в этом искусстве. Его стиль был страстным и ярким, и он писал так, словно был в эпицентре тех событий, которые описывал. Но его работа замечательна не только стилем. Его труд «История Франции» сравнивался с романами. Его встреча с архивами происходила в духе Пруста: один документ возрождал вселенную так же, как кусочек булочки, та самая *petite madeleine*, вернул мир детства Прусту. Его работа сравнивалась с *Человеческой Комедией* Бальзака, фреска жизни – одна написана историком в результате тщательного исследования, другая – повесть, продукт воспаленного воображения, но каждая из них – панорама, альбом социальных типов³⁴. Каждый из томов Бальзака построен на основе одной сюжетной линии, а каждый из томов Мишле построен на основе отдельного драматического эпизода французской истории. Герои романов Бальзака не умирают, они под тем или иным видом возвращаются, и это определя-

³² «historical divination», see: Christian Delacroix, François Dosse, Patrick Garcia, *Les courants historiques en France*, 2nd edn (Paris: Armand Colin, 2005). – P. 29–30.

³³ Hegel. *Lectures on the Philosophy of World History*. – P. 19.

³⁴ Honoré de Balzac, *Les Français peints par eux-mêmes. Encyclopédie morale du dix-neuvième siècle*. – Paris: L. Curmer, 1840–1842.

²⁸ Koselleck. *Futures Past*. – P. 34–35.

²⁹ Koselleck. *Futures Past*. – P. 127.

³⁰ Burrow J.W. *A Liberal Descent. Victorian Historians and the English Past*. – Cambridge: Cambridge University Press, 1981.

³¹ Meinecke. *Historicism*. – P. 430.

ет цельность работы; герои Мишле должны умирать, но исторические личности появляются в качестве гомологов предыдущих. Он жил своей историей и жизнями своих субъектов с немислимой проникновенностью. Он описал *danse macabre*, или танец смерти в XV в., с особой страстью, о которой он писал в дневнике: «Я погрузился с мрачным удовольствием в смерть Франции в пятнадцатом веке, смешивая ее с теми невероятными чувственными удовольствиями, которые я нашел как в себе, так и в самом предмете»³⁵. Историки романтической эры особенно увлекались таким способом выражения, но на них это не закончилось. Если прошлое было скорее предметом повествования, нежели строгого анализа, как в социальных науках, историки десятилетиями оживляли прошлое в тех же формах, что и Вальтер Скотт и Мишле. Концептуально строгий историк, осторожно относящийся к повествованию, но будучи мастером стиля, ясно понимает, почему литературная форма так привлекательна: «Легкость, с которой исторический материал может влиться в форму повествования, объясняет, почему научная дисциплина может быть и популярным жанром, и почему иногда трудно различить уровни исторического исследования»³⁶.

В работах марксистских историков советского образца – может быть, правда, и несправедливо – не признают того воображения, которое считается поэтическим или повествовательным, хотя их истории представлялись как плохая литература. Но если считать Троицкого советским марксистом, его «История русской революции» написана в

³⁵ Ceri Crossley. *French Historians and Romanticism. Thierry, Guizot, the Saint-Simoniens, Quinet, Michelet.* – London; New York: Routledge, 1993. – P. 187.

³⁶ Furet. In the Workshop of History. – P. 15.

любимом стиле историков-рассказчиков и читается как роман. Его описания тех вихревых времен искрометны; он был одержим четким и ясным представлением портретов; он улавливал и передавал психологию исторического лица и самого момента с той удивительной пронизательностью и точностью, которыми отличаются писатели. Действительно, Троицкий сам присутствовал во время этих известных событий и часто играл в них главную роль, но даже в этом случае написать историческую работу в том стиле, который он выбрал, требовало более воображения, чем исследования.

Заключение

История и память переплетаются столькими путями, что иногда невозможно их разделить; но они различаются и должны такими оставаться, несмотря на все попытки их объединить. Если история смотрит в будущее, память смотрит в прошлое; история утверждает, что она строится на базе универсально принятых правил анализа, память – это живой опыт без претензий на универсальность; история охватывает целостность человеческого опыта во времени, прошлом, настоящем и будущем, тогда как память ограничивается традициями и опытом одной группы; история не забывает, а память это нарочно делает; память – книга мудрости, полная образцовых историй; история наслаждается уникальными и неповторимыми событиями, даже по своей структуре; однако и история, и память рассказывают нам о чем-то с литературной силой эпоса и психологической пронизательностью романа. Но исторические работы становятся книгами памяти, ведь их можно использовать и как память; и историю часто путают с памятью, несмотря на их различия.

Литература

Balzac H. de. Les Français peints par eux-mêmes. Encyclopédie morale du dix-neuvième siècle. – Paris: L. Curmer, 1840–1842.

Burrow J.W. A Liberal Descent. Victorian Historians and the English Past. – Cambridge: Cambridge University Press, 1981.

Braudel F. On History, translated by Sarah Matthews. – Chicago: The University of Chicago Press, 1982.

Bloch M. The Historian's Craft, translated from the French by Peter Putnam. – New York: Vintage Books, Caravelle Edition, 1953.

Certeau M. de. The Writing of History, translated by Tom Conley. – New York: Columbia University Press, 1988.

Crossley C. French Historians and Romanticism. Thierry, Guizot, the Saint-Simonians, Quinet, Michelet. – London; New York: Routledge, 1993.

Delacroix, Christian, François Dosse, Patrick Garcia. Les courants historiques en France, deuxième édition revue et augmentée. – Paris: Armand Colin, 2005.

Eley G. A Crooked Line. From Cultural History to the History of Society. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2005.

Furet F. In the Workshop of History, translated by Jonathan Mandelbaum. – Chicago; London: University of Chicago Press, 1984.

Goff J. Le. History and Memory, translated by Steven Rendall and Elizabeth Claman. – New York; Oxford: Columbia University Press, 1992.

Halbwachs M. Les cadres sociaux de la mémoire. – Paris – La Haye: Mouton, 1975.

Hegel G. W. F. Lectures on the Philosophy of World History, translated from the German edition of Johannes Hoffmeister by H.B. Nisbet. – Cambridge: Cambridge University Press, 1975. – Chapter "Its general concept".

Hobsbawm E.J. "A Life in History," Past and Present, no. 177, 2002. – P. 3–16.

Judt T. «The Past is another country,» and Timothy Garton Ash, «Trials, purges, and history lessons: treating a difficult past in post-communist Europe,» in Jan-Werner Müller, ed., Memory and Power in Post-War Europe. Studies in the Presence

of the Past. – Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

Хомяков А.С. Записки о всемирной истории. Полное собрание сочинений в 8 т. Т. 4, 6–7. – М.: Типолит. т-ва «И.Н. Кушнерев и К^о», 1904–1906.

Koselleck R. Futures Past. On the Semantics of Historical Time translated from the German by Keith Tribe. – New York: Columbia University Press, 2004.

Malksoo M. «The Memory Politics of Becoming European: The East European Subalterns and the Collective Memory of Europe,» European Journal of International Relations. – Vol. 15, no. 4. – 2009.

Meinecke F. Historism. The Rise of a New Historical Outlook, translated from the German by J.E. Andersen. – London: Routledge & Kegan Paul, 1972.

Мирунов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.). Генезис личности, демократической семьи гражданского общества и правового государства. В 2 т. – СПб.: Дмитрий Буланин, 1999.

Misztal B.A. «Collective Memory in a Global Age. Learning How and What to Remember,» Current Sociology, January 2010, Vol. 58 (1). – P. 24–44.

Nivat G. «Mémoire russe oubli russe,» in Georges Nivat, ed., Les sites de la mémoire russe, Tome 1, Géographie de la mémoire russe. – Paris: Fayard, 2007.

Renan E. Qu'est-ce qu'une nation? Conférence faite en Sorbonne, le 11 mars 1882, 2nd edn. – Paris: Calman Lévy, 1882.

Ricoeur P. History and Truth, translated from the French by Charles A. Kelbley. Evanston, Ill.: Northwestern University Press, 1965.

Trevelyan G.O. The Life and Letters of Lord Macaulay, by his nephew G. Otto Trevelyan, Member of Parliament for Hawick District of Burghs, 2 vols. – New York: Harper, 1876. – Vol. 1.

Winter J. Remembering War. The Great War Between Memory and History in the Twentieth Century. – New Haven and London: Yale University Press, 2006.